# Наталья Ключарёва

# Фабрика

документальная пьеса[[1]](#footnote-1)

Действующие лица

Нина, 1924 г.р., начальница цеха

Римма, 1935 г.р., учительница фабричной школы

Альбина, 1937 г.р., старший мастер

Светлана, 1940 г.р., чёсальщица

Антонина, 1949 г.р., начальница участка

Людмила, 1952 г.р., тростильщица

Надежда, 1954 г.р., работница музея фабрики

Александр, 1924 г.р., помощник мастера

Альберт, 1939 г.р., слесарь

Николай, 1941 г.р., рабочий хозчасти

**Пролог. Песнь о трудовом стаже**

Хор:

Пришла на фабрику в 14 лет

Так и работала, пока на пенсию не села

Без двух лет полвека

Общий трудовой стаж моих предков – 500 лет

На мануфактуре работал конторщиком папин дед

Таких маленьких не брали, но я себе год приписала

устроилась приёмщицей пряжи

поставили на обслуживание барабанчиков

После войны начала работу банкоброшницей

Подставляла к станку скамеечку, чтоб достать

как стихи Маяковского: трёпальный, чёсальный, крутильный, тростильный

накинула лямку – и потащили

40 лет от звонка до звонка

**Фабрика. Начало**

Альбина:

Сказали нам: чтоб никаких косичек. Был случай, когда у девочки коса попала в мотор – и… в общем, не спасли. Мы напугались, косички спрятали и по цехам. Вышли – кричим на всю улицу. Мы ничего не слышим, мы оглохли! Для нас это было шок, вот прямо шок: как же мы тут будем работать? А когда стали работать – ой, девчонки, косы-то обстригли. Они были такие длинные, такие толстые. Я до сих пор бегаю, смотрю ту фотографию, где я ещё с косами. Потому что сейчас я лысая, даже стесняюсь. В платке всю жизнь проработала.

Светлана:

Прихожу я в первый день на работу. Мне сказали погулять по цехам, осмотреться. Вся такая красивенькая, атласный халатик сшила, косыночку в горошек, воротничок в горошек, иду, ручки в кармашках. Ещё не касаюсь ни оборудования, ничего. И вдруг одна ткачиха, как понесла меня матом: ходят тут всякие, хоть бы помогли. У меня потом, конечно, всю смену глаза на мокром месте были, я не понимала, за что меня отругали.

Антонина:

Всё крутилось, вертелось! Это что-то! Я была из деревни, ещё возраст такой - 15 лет. И как-то всё это для меня… какой-то пух летает по фабрике. Полные глаза пуха, сама вся в пуху. Без конца отряхиваешься. Потом уже нас научили с губкой ходить. Иду по территории – деревья все белые стоят.

Александр:

Фабрика была вся чёрная. Пыль стояла невозможная! Станки трещали. Работали и пожилые, и больные – жить не на что, вот и приходили. Брат приехал ко мне, я провел его по цехам. Он руками замахал: «Выводи меня отсюда! Это торпеды летают! Вылетят ещё». А когда вышли, говорит: «Это убийство! Ты что, другого места не мог найти?».

Нина:

Мне дали задание: заменить отработанные детали. Я беру ключи, разбираю. Смотрю. То, что выработано – в сторону. Новую деталь ставлю. И ка-а-ак заверну! И настолько полюбила всё это – отвернуть, завернуть, поставить, заменить. Я ничего не боялась, не брезговала, что там грязь или что. Я очень полюбила оборудование. И попросилась туда, где машины. Главный инженер говорит: «Но это же мужская работа!» – «Ну и что? Мне нравится!». Он так посмотрел: мол, куда лезешь? Плечами пожал: «Ну, раз нравится…»

Николай:

Пришёл на комбинат прямо к директору. Тогда это было легко. Он сказал: «У меня мест нет для таких маленьких». Я закричал, что у меня отец погиб за моё счастье, а мне даже работы нет. Был молодой, нахальный. Ещё руки подмышки так важно сложил. Директор вызвал начальника отдела кадров и говорит: «Устрой его, только с глаз моих убери». И меня устроили территорию мести, мусор убирать. А фабрика — одни девчонки! И вот я такой раскудрявый, 16 лет, метлой машу. Они идут, хихикают! Терпел, потому что деньги были нужны.

 **Бабушка. Влюбленный англичанин**

Альбина:

Бабушка мне говорила: «Аля, ты никогда не будешь жить так хорошо, как мы жили! Вот у тебя одно пальто, а у меня было три. В одном я ходила на работу, в другом – на танцы, а в третьем по магазинам». Рабочий день у них был длинный, конечно. Но в обед отпускали домой. «Мы, – говорила она, – поедим, деток покормим. Потом возвращаемся и продолжаем работать». Бабушка говорила, кто работать не хотел, те и были за революцию. В каждой каморке революционер. Вот, например, сейчас возле фабрики улица Калмыковых. А бабушка их знала, этих братьев. Они были отъявленные бандиты, шпана. Бабушка видела царя и царицу, когда они приезжали. Встречали их… ну вот как Терешкову. Они ехали в открытой карете. И бабушка их видела воочию. Она всю жизнь была за царя, ходила в церковь.

Надежда:

И вот революция, а бабушке Кате надо семью кормить, и она поехала в деревню за мясом. Мясо-то купила, а как до дома довезти? Зелёные шарятся по поездам, белые, красные с пулемётами бегают. И бабушка обвязалась этим ледяным мясом вокруг живота. Мясо-то она привезла, но заболела двухсторонней крупозной пневмонией. Тогда это заболевание было неизлечимым, и бабушка умерла. Она похоронена в братской могиле. На памятнике написано – жертвам революции.

Альберт:

Дед Птицын был очень властного характера, бабушка Мария Степановна находилась у него в полном подчинении. Как было принято в старое время, её выдали за Птицына по сватовству. А она любила другого парня, и он тоже её любил. После свадьбы он застрелился на кладбище. Поползли слухи, и молодым пришлось переехать в другой город. И вскоре она умерла, а дед на другой женился. Матери тогда два года было.

Римма:

Приехали на фабрику англичане, инженеры. Бабушка тогда была молодая, симпатичная, одевалась со вкусом. И вот один англичанин, тоже симпатичный, стал частенько проходить мимо. А потом в перерыв подошёл познакомиться. Он не скрывал, что женат. Но у них не было детей. И он сказал: «Ты мне очень понравилась. Я с той женой разведусь. Хочу от тебя детей». Но потом началась революция, и их всех отослали в Англию. Он писал бабушке: мол, приезжай, у вас там такой беспорядок, а здесь будешь жить в достатке, я разведусь. Написал 4 письма. Ей эти письма дали потом прочитать в ЧК. И чуть ли не в шпионаже обвинили. Она 4 дня отсидела в тёмной камере, в одиночке. От неё добивались каких-то признаний. Но очевидно, следователь всё-таки понял, что она простая рабочая. В общем постращали и отпустили, но предупредили, чтобы больше никаких переписок.

Нина:

У меня есть раритет: крючки для вязания, которым больше 100 лет. Их сделал мой дед на фабрике. Бабушка хорошо вязала. Вот этим крючком вязались тапочки – все дети в корпусах бегали в таких тапочках. В каморке было два окна высотой примерно 4 метра. И бабушка вывязывала на каждое окно по две тюлевые занавески. Только представьте!

Людмила:

Бабушка работала в войну в хлебном магазине. У неё было шестеро детей. И вот однажды ей заведующая сказала: мол, прошёл слушок, будто ты отрезаешь своим детям. Бабушка скинула халат, бросила ей на стол и ушла. За ней потом приходили домой, упрашивали вернуться – ни в какую. Она была несгибаемый характер. Говорят, я на неё похожа.

**Аресты. Пришёл через 25 лет.**

Альберт:

Пришли, выгнали семью на улицу, искали какое-то золото, ещё чего-то. Дед Птицын зажиточный был. Забрали всех, только мать с братом оставили. Ей было пять, а он ещё меньше. И вот они ходили, собирали куски. Им много давали – и пироги, и всё. А они наберут полную котомку, и эти куски у них там плесневеют. И они снова идут просить. Им говорят: «Неужели уже всё съели?» А они маленькие совсем, не понимают.

Надежда:

Когда советская власть победила и стала уничтожать бывших соратников, тогда вдруг выяснилось, что дед Павел в юности дружил с эсеркой Софьей. Он вовремя сообразил, что ему грозит, и отказался от каких-то показаний, которые вначале давал. Он чудом выкарабкался, его чуть не посадили. После этого он понял, кто пришёл к власти. Но ему боком вышли все эти допросы: он перенёс инсульт и умер в 40 лет. Дед не был ни большевиком, ни эсером, а был, как многие молодые люди тогда, просто недоволен своей жизнью.

Николай:

Дед участвовал в стачечном движении. Перед забастовкой 1905 года был одним из создателей стачечного комитета. Этим занималась партия эсеров. В 1930 году деда вызвали на допрос, и обвинили в связях с эсерами. После допроса дед умер от кровоизлияния в мозг. А к бабушке пришли его товарищи по стачечному комитету 1905 года и предупредили, что скоро в дом придут с обыском, надо уничтожить все документы. У деда переписка была с Аллилуевыми, с Емельяном Ярославским, много с кем из большевиков известных. Бабушка всё это успела сжечь. И семью оставили в покое.

Римма:

Маму в 1934 году направили в Карабиху возглавить маленький молочный заводик. А в 1937 пришёл какой-то человек ночью и сказал: «Я советую вам отсюда уехать». Потому что пошли аресты. Мама с папой к утру собрались, сказали, что бабушка больная, и уехали.

Альберт:

Мать с фабрики одну тряпку украла – материал. Она была неграмотная и подписала документы, где говорилось, что она занималась этим «систематически». А мать не знала, что ей там понаписали. И в итоге она села, отец остался с нами. Потом однажды возвращаюсь домой, сестра прибирается в каморке. «Что такое?» – «Отца забрали». Он рассказывал, как их содержали в подвалах. Всё с них сняли – ремни, шнурки. Но отец рассказывал об этом с юмором даже. А мы здесь на воле приняли столько оскорблений. Меня тюремщиком все звали.

Альбина:

В войну был голод страшный, бабушку чуть не посадили. Чтобы как-то выжить, ровницу с комбината брали, вязали кофты, продавали на базаре. И один раз бабушка попалась. Ей сулили большой срок, не 25 ли лет. Но она была хорошим работником, за неё заступились, и всё было пущено на самотёк.

Антонина:

Папина старшая сестра во время войны была заброшена диверсионным отрядом на вражескую территорию как радистка. Попала в плен, в концлагерь. После освобождения тут же очутилась в нашем лагере – за то, что сидела в том. И до конца жизни она билась, чтобы доказать: она раненой попала в плен, против страны ничего не делала, фашистам не служила. Ей удалось собрать все эти документы, и за несколько лет до смерти её реабилитировали.

Светлана:

По нашей улице часто водили пленных немцев. Однажды ведут их. И все из дома на улицу высыпали и смотрят. И вышла одна семья – мама и две дочки. Мама, Александра Денисовна, в школе преподавала немецкий и французский. Она была бывшая княгиня. Младшая дочка у неё, Маруся, была ненормальная. Хотя она всё понимала, можно было с ней разговаривать. И она тоже знала немецкий и французский. И вот ведут этих немцев, а Маруся им давай что-то кричать. И охранники сразу её схватили. Женщины подбежали, говорят: «Что вы! Она же ненормальная, не соображает ничего». И её отпустили. Но вскоре пришли их арестовывать, мужа Александры Денисовны забрали, а девочек спрятали соседи. Мы их больше не видели.

Людмила:

В 1946-м папу направили в военное училище. Начальник училища посмотрел его документы и говорит: «Прикрой-ка дверь. Знаешь что, мальчик, спрячь эти документы и езжай туда, где тебя никто не знает. Документы никому не показывай, иначе окажешься там же, где твой отец». А его отец с 1938 года валил лес по 58-й. Дед был из крестьянской семьи, с юга Пензенской области. Раскулачены они не были, считались середняками. Но дед любил выступать и за словом в карман не лез. Ну и покритиковал что-то в совхозе. Его забрали, а семья стала голодать. Умирали дети один за другим. Папа мой последним оставался, уже не вставал. Родственники узнали, привезли еду. Он выжил, но так и не вырос, остался на всю жизнь маленького роста.

Альберт:

Один человек у нас в корпусе работал водителем. Началась война. Тогда из Америки приходило сало, такими пластами, и этот мужичок должен был развозить его по магазинам. А рядом с ним экспедитор всегда ездил. И вот однажды водитель ему и говорит: «Слушай, давай кусок сала возьмём? Что там, всё равно никто не догадается». Они взяли, разделили. Стали магазины проверять - не хватает. К водителю приходят. Он: «Я простой шофёр, за руль держусь». Милиция: «Ну, значит, экспедитор виноват». Они к нему пошли, не застали. А в корпусах-то все уже: «ля-ля-ля… к этому приходили». Экспедитор возвращается вечером, ему говорят: «За тобой приходило НКВД». Он не будь дурак, бежит в военкомат и с утра уезжает добровольцем на фронт. Но его всё равно потом поймали и посадили. Пришёл через 25 лет.

**Война. До сих пор дрожь**

Альбина:

Я была маленькая, но я помню ужас эвакуации. Это был октябрь, уже к ноябрю. И это была последняя баржа. Там уезжали в основном женщины – тоже с детьми, со стариками. Но у всех небольшой скарб, а мама притащила даже швейную машинку! И эти женщины на барже так её ругали. Было очень тесно, сидели впритык. Дети плакали, женщины тоже. Поплыли вниз по Волге. Возле больших городов всегда бомбили, особенно у мостов. Когда бомбили, бабушка нас прятала под юбку и молилась: «Только бы всем вместе погибнуть!».

Римма:

Шла из школы, и вдруг в небе загудели немецкие бомбардировщики. Летели бомбить железнодорожный узел. Я скатилась в канаву, стянула с себя красный беретик, спрятала в карман, думала, меня в нём обязательно заметят*.* И так низко летели, я даже увидела лётчика, а на крыльях – кресты. До сих пор дрожь, как вспомню. Другой раз летал над фабрикой фашистский самолёт и очень неприятно гудел. Детей было много во дворе, и сразу мальчишки кто камнем, кто чем стали кидать. У нас в доме бомбоубежище было, и там стояли, как в детском садике, раскладушки такие небольшие. Вот на этой раскладушке закутают – и спишь. Мы ходили в госпитали с концертами. Мама меня научила петь «Заветный камень», это про Севастополь песня. Я пела, а раненые плакали.

Людмила:

22 июня 1941 года маме исполнилось восемнадцать лет. И она, как все девочки, тут же пошла на курсы медсестёр. Потом подала заявление на фронт. А в ней веса 40 кило было. И военком посмотрел на неё и говорит: «Никакого тебе фронта, останешься здесь, санинструктором». А эшелон, на котором остальных девчонок отправили, попал под бомбёжку. И кто там выжил, я не знаю.

Надежда:

Тётя Поля работала медсестрой в госпитале и познакомилась с одним раненным. И так они влюбились друг в друга, что она ушла за ним на войну. А он разведчиком был, ноги ему потом отрезали. Но они, как два лебедя, шли по жизни, не отпуская друг друга. До самого конца. Я такого никогда не видела.

Римма:

В конце улицы на лугу стояла зенитная батарея, несколько орудий. Обслуживали её мобилизованные девчата. Главным у них был старшина лет 45. Во время налётов, они стреляли из зениток по вражеским самолётам, но ни разу не попали. Девчата эти были расквартированы по домам на нашей улице. Одна из зенитчиц жила у нас. Через некоторое время она сказала, что демобилизуется по причине беременности. В этом ей помог старшина. И, как выяснилось, не ей одной. Хозяйка дома, где он квартировал, тоже потом родила от него девочку Таню.

Светлана:

Дороги из Ленинграда я не помню. Только помню всё время почти – стук-стук, стрельба какая-то. Потом мы остановились. Вагон был товарный, он сверху открывался. И вот представьте – вдруг вверху появляется свет. Я только солнышко увидела, больше уже ничего не видела. Не видела, как выводили больных детей, как умерших выносили. Ничего не помню. Только знаете, что у меня осталось? Когда меня выводили, я шла по людям, а вокруг стоял стон. Очень тихий, но протяжный. Этот стон я потом всю жизнь как будто слышала. Всю жизнь. Несильный такой, далёкий.

Людмила:

Ходили в деревню вещи менять на еду. И вот мама пошла с одной, а у той грудной ребёнок на руках, махонький. Мама - в одну часть деревни, женщина - в другую. Поменяли. Встретились, а та уже без ребенка. Пошли обратно. И вдруг плач. Женщина идет, нервничает. Слезы у нее. Потом все бросила и побежала за ребенком за своим. Тащит его, говорит: «Помирать, так вместе!». Она хотела ребёнка оставить близко к деревне, чтобы деревенские услышали. Все равно ведь заберут, выкормят. А кто знает, кто оставил, тут ходят сотни людей менять.

Альбина:

Приехали в Саратов, разместились на вокзале. Очень холодно, пол каменный. Люди лежали на лавках. Многие болели, дети все кашляли, плакали. Стали голодать, вшиветь. Мама и другие женщины расчертили вокзал вместе с лавками – на квартиры. Записали: квартира такая-то – эти живут, квартира такая-то – те. Потом пошли на местный тракторный завод, там делали детали к снарядам. Маму взяли токарем. Сразу дали карточки, мыло. Женщины целыми днями работали. Старики занимались уборкой. Две печурки были на этом вокзале, их топили. А бабушки сидели с детьми. Год мы там прожили. От папы не было никаких вестей.

Римма:

Угол комнаты весь промерзал, и жили мы на кухне. Когда наступала зима, многих старушек приходилось спасать. Мама говорила: «Сегодня у меня рейд». И шла по каморкам. Старушки забирались в сундуки – там потеплее, и бывали случаи, что выносили их оттуда уже неживых.

Светлана:

Я была взята на воспитание одной женщиной. Я её бабой Юлей звала. Она была неграмотная, работала на фабрике простой ровницей. У неё муж был на войне, а над кроватью висел снимок ребёнка, похороненного в гробике. Я этого тогда не понимала. Долго-долго этот снимок помню. В войну она со мной намучилась. Наша каморка вообще не обогревалась. Останется вода в стакане, утром встаёшь – а там лёд. Стены в инее все. Я была всегда простужена, у меня были чирьи, говорили: с куриное яйцо. В больнице разрежут, а там тут же новый появляется. У меня вся спина в шрамах. Я стыдилась всегда загорать.

Нина:

Война меня застала на 2-м курсе, на практике под Москвой. С нами были ребята с 4-го курса, и они все уходили на фронт, даже домой не заезжали. Тут мы почувствовали, что это значит: «началась война». На фабрике, где мы проходили практику, царила полная суматоха. Руководителей мужчин никого – все ушли в военкомат. Ни мастеров, ни начальников цеха. И мы не знали, к кому обратиться: одни женщины, и все плачут.

Николай:

Два пленных пришли к нам в дом, не запиралась ни калитка, ни крыльцо. У одного рука перевязана через шею грязной тряпкой. «Матка, хлебца! На миль, на!» И вот такой кусочек мыла держит. Наверное, третья часть ладони. Мать говорит: «Мыла мне не надо, у нас щёлоку вон целая бадья». Щёлок – это зола замоченная, бельё стирали золой. «А хлебца нету. Вот зачем вы убили отца? Сироту оставили». – «Мы не Гитлер, мы не Гитлер». Мать тогда мне и говорит: «Дай фрицам чибриков». Чибрики – это такие оладушки из картошки мороженой. Они тут же во дворе их съели. Не знаю, поняли или нет, из чего эти чибрики. Но съедобные, съели тут же.

Римма:

В новогодние дни отключили свет. А на ёлке свечи горели. Дверь дома не запиралась. И вдруг к нам заходит в темноте немец. Шёл мимо, увидел ёлку. И вот он заходит и по-своему что-то говорит. Мама положила в кулёк картошки и подарила ему. Эти немцы пленные рыли какие-то канавы, а мы, дети, туда бегали, носили им кусочек хлеба и зелёный лук. Они нам фотографии показывали своих детей. Не было ненависти, представляете. У детей ненависти не было.

ХОР:

Мы замерзали в войну голодные

Всё даже страшнее, чем пишут в газетах

такая воронка от бомб - целый дом поместится

со всей улицы вернулись только двое

хлеба не помню никогда

как это мы выжили

как мне его прокормить

не было чего есть

Был у меня мешочек с сухариками

Всё время хотелось есть, есть, есть хотелось

ел картошку прямо с кожурой

**Голод. Маленький довесочек.**

Нина:

Прислали к нам из Ленинграда ребят из ФЗУ. Один другого меньше, родители неизвестно где. Они на меня смотрели такими глазами… ну как на мать. Что я могла сделать для них? В то время в станках была шлихта – клейстер, которым пропитывали нити основы. И я сказала мальчишкам, чтобы они утром приходили пораньше, брали эту шлихту и ели. Видели бы вы, как они её уплетали, вот так – горстями!

Альберт:

К соседям приехал с фронта танкист в форме. Высокий, здоровый. А такая нищета была, я заходил, просил очистки у них. Они брали очистки для скота, мыли, сушили и ели. И вот я прихожу: «Тёть Варь, дайте очисток поесть». А они горькие… Танкист посмотрел на это и прямо с гранатой пошёл в обком. Говорит: «Мы там воюем, убиваемся, здесь у меня трое детей, а вы…». Их обеспечили на время, он ушёл на фронт и погиб.

Альбина:

Мы особо не голодали. Мы держали поросёнка. И собирали для него помои. Я ходила по помойкам. У меня были два ведра из жести. И вот когда я эти вёдра несла, там плавали корки мандариновые. Я останавливалась, пальчиком водила по ним, но не решалась съесть, хотя хотелось страшно. Вспоминала, как раньше в Новый год мама подвешивала нам мандарины на ёлку, а мы срезали их ножницами с верёвочек. И ели, ели… Всё моё детство прошло в мыслях о еде. Всё время хотелось есть, есть, есть хотелось. Не было чего есть. Я ходила с карточками за хлебом. Разрешала себе съесть по пути, только если был довесок. А их давали очень редко, и он такой был маленький, этот довесочек.

Светлана:

В корпусах многие были из сельской местности. Что-то им присылали из дома, какие-нибудь морковинки. И вот у кого немножко было, сварят и мне дают. За нас, блокадных приёмышей, ни грамма не давали. И за 2-3 дня до получки у нас дома просто нечего было есть и негде было взять. Соседи знали, что у нас нет еды, и иногда просто говорили: «Светка, там суп остался вчерашний, попробуй, не прокис ли». И я весь съедала. Я никогда не просила, не ходила с протянутой рукой, нет – это молчок. Сидела, пока что-нибудь не дадут.

**Мама. Всегда в одном платье.**

Альберт:

Я очень мать любил. Когда она умерла, говорил, что побегу, под поезд брошусь. Елена Платоновна, вот её короткая жизнь: голод, война, тюрьма, муж в тюрьме, тяжёлая болезнь и кончина. И всё. Могила её под окном у нас, на Донском кладбище, она обихожена.

Мать и до войны, и всю войну работала. Есть у меня воспоминание, как я ей хлеб приносил. Пришёл, стою у проходной. Меня вахтёр увидел и посадил к батарее. Сижу у батареи, а фабрика шумит. Сидел, сидел, матери всё нет. И пошёл уже обратно, а тут она как раз бежит. За хлебом мы стояли – целый коридор очереди. Получали сразу на троих. Мать пока на работе, пока Ирки нет, я раз – отрежу кусочек. Меня нет – Ирка тоже отрежет. А потом мать придёт и делит остатки на троих. Хотя видит, что мы уже приложились. «Нас кормили на фабрике», говорит.

Альбина:

Мама приходила из фабрики, садилась и сидела так полтора-два часа, глядя в одну точку, потому что у неё просто не было сил что-то делать. Из фабрики она всегда приносила коричневый кусочек маленького сахарку. Где брала, не знаю. Мы её всегда так ждали, бегали к проходной встречать. Когда смена кончалась, мы с братом туда. А идут народу-то! Тысячи, вот прямо тысячи! Мы ждём: где наша мама, где мама? И вот она через проходную идёт! Мы такие радые, мы же её редко видели, она всё время работала.

Римма:

Когда мама зарплату получала, это был целый праздник! Мы ехали в центр, покупали торт, ещё что-нибудь вкусное и на такси возвращались домой. Хорошее у меня было детство, которое до войны! Потом маму отправили на трудовой фронт, в Буй, рыть окопы, против танков. По пояс в воде работали, под обстрелами. И мама подорвала здоровье, хотя она была крепкая, спортсменка. И в 40 лет её не стало, мне было 11 всего.

Надежда:

Знаете, что считалось величайшим счастьем? Попасть на *место мамки* – то есть, чтобы тебя взяли на фабрику именно на ту должность, где работала твоя мать. Вот мою маму взяли *банкоброшницей*, как бабушку Катерину Ивановну. И мама была счастлива всю жизнь от этого… Мама пироги пекла, такие вкусные, как только она умела. Хотя и печь-то было не из чего. Голь на выдумки хитра. Особенно мы любили колобушки-преснухи. Это было какое-то таинство. Мама сначала приберёт дом, весь намоет, на руках детей отнесёт спать. Потом затворит тесто. Тесту надо выходиться, это долгий процесс. И ночью мама начинала печь, когда все спят. Где она брала силы, не знаю.

Николай:

Мы все безотцовщиной росли. Матерям только с работы прийти и нас накормить, да штаны какие-никакие надеть, чтобы не с голым задом в школу шли. На большее у них ни сил, ни времени не хватало. Мать у меня ни разу тетради не проверяла. Раньше была мода, что если учитель хочет родителя вызвать, то отбирали сумку и говорили, пусть мать придёт за сумкой. И у меня отобрали, не помню за что. Дома мать спрашивает: «Ты чего уроки не делаешь?» Я говорю: «А у меня сумку отобрали, просили тебя прийти». «Ты хулиганишь, а мне идти?».И не пошла. В школе спрашивают: «Где мать?» – «Она говорит, буду я ходить за твоей сумкой». Через два дня отдали мне сумку и больше не отбирали.

Людмила:

Мама в детстве жила в Свердловске. Рассказывала, как их в 1 классе водили на экскурсию в Ипатьевский подвал, где расстреляли царя с семьёй. И учителя втолковывали, что, мол, так им и надо. А дети трогали пальцами дырки от пуль на стене и повторяли: «Так им и надо!» Такое было время, бессердечное.

Римма:

В клубе концерты были, мама меня всегда с собой брала. И там один раз случилась такая драка! Стрельба открылась. Участвовали в ней военные из госпиталя, которые шли уже на выписку. Они имели при себе оружие. И мама бросилась в самую середину к ним! И остановила драку. А они же участники войны. Я боялась, что её убьют. И ведь могли убить.

Людмила:

Мама ходила всегда в одном платье. Вечером постирает, утром высохнет, погладит и на работу. Второго платья у неё просто не было. Нижнего белья тоже никакого. И мама сама шила нам рубашечки. Мне понизу связала такими зубчиками кружево, бретелечки сделала кружевные. И я когда в общей бане надевала эту рубашечку, все оглядывались, так красиво было. От мамы, помню, всегда хлопком пахло. Когда она заболела гайморитом, ей в больнице просветили носовые пазухи и говорят: «Там всё забито хлопком!»

Антонина:

Мама совсем немного проучилась в 1-м классе. А ей так хотелось учиться! Даже зимой она ходила на уроки, хотя обуви не было, накручивали на ноги, что могли. А в марте начало всё таять, кругом лужи. Она в чунях бегала, в школе постоянно сидела в сырой обуви. В результате простыла, и ангина дала потом осложнение на сердце. Учиться ей больше мачеха не позволила – заставила сидеть со своими детьми. Мама девчонкой восьмерых вынянчила. Помню, как мама расписывалась: она чётко знала, за какой какая буква идёт, но не могла бегло расписаться и, как первоклассница, выводила букву за буквой.

Николай:

Они были очень затюканные, матери наши. Конечно, они не женщины. Не было у них жизни практически. До войны кое-как, в работницах, потом война на их плечах. После войны, не все сейчас знают, 1946-й, 1947-й годы голод был сильнее, чем в войну саму. Неурожай был, хлеб сгорел. Они вырастили нас, но своей личной жизни уже не создали, так и остались вдовами.

**Папа. Все пришли такие.**

Надежда:

Папа два года провел в окопах простым солдатом. Наступление, отступление. Списали его от истощения крайнего, сказали, не жилец. Дома врачи посмотрели, говорят: «Неоперабельный, идите живите, сколько наживёте». А у мамы детей мал мала меньше. Что делать? Мама тогда как раз родила Галю, и у неё было грудное молоко. И она папу отпоила своим молоком. Он едва окреп – снова ушёл на войну.

Альберт:

Отца контузило в 1942 году. И, проезжая с лечения на передовую, он заехал к нам. Мне привёз духовое ружьё, оно стреляло. Мне около трех лет было. А у нас как раз все кастрюли украли, остался один горшок из-под цветов. Дырочку мы заклеили, и в нём готовили. И я почему так хорошо запомнил-то – я из этого ружья по горшку стрельнул – и всё, варить не в чем. Это и смешно, и холодно.

Альбина:

Отец служил интендантом эвакопоезда. Если поезд на Всполье зимой останавливался, то он через Которосль по льду прибегал домой. Приносил гостинец: то копчёной колбаски, то маслица – это был праздник. А потом кто-то донёс на него. Пришли с обыском. Но ничего не нашли. Всё съедалось тут же, так как он приносил совсем немного.

Людмила:

Папа большой юморист был. Один раз мама заходит в нашу комнату. А у стола сидит какая-то женщина. Двери-то не запирались. На женщине мамин сарафан почему-то, платочек. Отвернулась от двери и сидит. Мама гадает: кто же это? Подходит, заглядывает в лицо, а это папа! Нарядился, чтоб её насмешить. Работницы на фабрике его любили очень, потому что он к каждой подходил с юмором. Вот она не в духе, усталая, а он пошутит – и всё, у неё от души отлегло. В Лабаз придёт, продавщица, если старая, он назовёт её «молодушка»… Папа любил рыбачить. Прозвище у него было – Севка-треска. А еще любил Есенина. Как выпьет, всё читает вслух. Один раз его даже забрали в милицию. Он стоял на крыльце Дома культуры и читал: «Советскую я власть виню, И потому я на неё в обиде, Что юность светлую мою В борьбе других я не увидел». Кто это тут про советскую власть что-то? И забрали.

Римма:

У многих одноклассников отцы пили. Все прошли через войну, через этот ад, и найти себя в нормальной жизни без алкоголя… Ничего людям не дали, тем, кто прошёл войну. Это я сейчас понимаю, а в детстве я отца, честно говоря, ненавидела. А когда мне было 12 лет, он решил свести счёты с жизнью, удавился.

Надежда:

После войны все пришли такие... Люди отпускали страх, боль. Где-то за пределами меры, возможно. И женщины брали всё на себя, чтобы поддержать этих мужчин послевоенных. А наш папа даже не ругался матом. У него словом ругательным было почему-то – «аккордеон». Сам-то аккордеон появился уже позднее. Папа плясал интересно, по-скоморошьи. Всякие коленца выбрасывал – в памяти это осталось.

Людмила:

В последний год папа сказал: «Я уже не хочу жить». Он сохранял рассудок, ходил на своих ногах, всё нормально было. Но он говорил: «Мне неинтересно. Я выхожу из дома – и мне не с кем здороваться». Когда-то все его знали, и он всех знал, и вот его поколение ушло. Он говорил: «Я выхожу – и я как в чужом городе, как в чужом мире, как на другой планете. И мне незачем жить здесь».

**Фабрика. Нелёгкая промышленность**

Светлана:

Всё гремит, стучит, уши закладывает. Крутятся шпули, на них нитки накручиваются. Где-то шпули накрутились, надо бежать, снимать, новую ставить. Я бегаю. Встал один станок, другой. У меня паника! Женщины, которые там работали, видят, девчонка с вытаращенными глазами – они своё бросают, мне помогают. Я там на 5 килограммов похудела! Месяц проработала и думаю: а ведь, правда, на фабрике толстых нет, все худые. Очень тяжёлая работа. Кто это назвал лёгкой промышленностью?

Нина:

Мы получили задание демонтировать полторы тысячи станков. И вот я смотрю и думаю: «Как вытаскивать станки с этими детьми?» Начали работать, я командую: «Раз-два, взяли!». А они – ни с места. У них сил нет, голодные! Я тогда встала вперёд, накинула лямку, и мы потащили. Подходит старый рабочий и говорит: «Дочка, ты чего творишь?! Почему себя не бережёшь?!». Я отвечаю: «А что делать, они ничего не могут». – «Ну, придумай что-нибудь! Нельзя так!».

Александр:

Я принёс цилиндр, наставил длинный вал, через который выбивали шпиндель. Слесарь держит шпиндель и говорит: «Вдарь по шпинделю кувалдой». Я ударил, а он: «Чего так тихо? Давай сильнее». Я второй раз. Он: «Ещё сильнее». А я мимо. Кувалда вырвалась у меня из рук и пролетела рядом с его головой. Он бросил шпиндель – и на меня. Думал, убьёт. Еле ноги унёс. По всем цехам улепётывал, как заяц. После этого недели, наверное, три не заходил в мастерскую: боялся.

Альбина:

Для меня владеть гаечными ключами, молотком – это была ерунда! Дома папа занимался всеми плотницкими делами, а мы ему помогали. И вот мастер приводит меня в цех. А там – одни мужики, и молодые, и старые: «У-у-у, кто к нам пришёл!» Мастер на них шикнул: «Никаких «у-у-у»! Чтоб не обижать». Они быстро поняли, что я серьёзно к работе отношусь. Сначала пытались: «Принеси, подай», но не на ту напали! Инструмент я весь знала: какой ключ накидной, какой простой, что такое коловорот, молоток. Помню, один стал спорить, а другой говорит: «Ты к ней лучше не лезь! Её на мякине не проведёшь!»

Антонина:

Я у станка была такая – ух! 750 веретён, туда смотрю, где обрыв, а здесь заправляю. Вслепую – руки сами делают. Всё бегом, бегом. Работа она ведь и заряжает. Хоть она из тебя и высасывает всё, но она и заряжает. 8 часов отработаешь, прибежишь домой, детки малые, в ясли, в садик, туда-сюда. Обед приготовить, ужин, бегаешь-бегаешь, вечером свалишься и уже всё. Зато всё успела. Вот как разбежишься у станка, так до вечера.

**Корпуса. Всё впритык**

Альберт:

У корпуса летом стрижи летали, пищали. Там ниши были, где они жили. Мы их видели, как они выглядывают, маленькие. У нас в каморке даже розетки не было. Висела лампочка и всё. Отец не мог придумать, что надо на патрон её посадить, чтобы и лампочку, и плитку включать. И вот что-то готовить – свет гаснет, и темно, только эту плитку и видно. Потом появился электрик, у него имя было поэтическое – Пушкин. И он сделал нам патрон и провод на плитку. Ни телевизора, ничего не было, радио только. В углу у нас динамик стоял на ножках, круглый металлический. И вот Хор Пятницкого поёт, а я не понимаю: где же они? Думал, что под приёмником – сейчас открою, а они там все маленькие на сцене стоят.

Светлана:

После войны было много одиноких женщин. И меня в корпусах привечали две вдовы – Дашонка и Петровна. Привечали – то есть приглашали, принимали. И любили. У них не было никого. Как и у меня. И вот они меня звали, сажали за самовар, наливали чай. Помню: баранки, сахар, его специальными щипцами кололи. Они учили меня петь частушки. Но я больше любила печальные песни. Их они тоже часто пели.

Антонина:

Нас жило вместе восемь девочек. Спали по двое на кровати-полуторке. Комната такая узенькая, здесь две кровати и здесь две, а посередине столик. И печечка в конце. Потом к нам поселили еще киргизок. Одна – Машей мы её звали – понимала по-русски. А вторая придёт, сядет и сидит — только улыбается. Что ей ни скажем, она всё: «Салам алектым! Салам алектым!». Потом Маша придёт, переведёт.

Людмила:

У нас в комнате помещалась только кровать. Братишка с мамой спал рядышком, я поселялась в ногах. А папа у нас под кроватью спал. Иногда разыграемся-развозимся, а он снизу стучит: "Эй вы, галёрка, потише!" А через занавесочку – жила другая семья. Всё впритык, всё вплотную, но, тем не менее, порядок был, уют своеобразный, чистота идеальная. Никаких там животных, ничего не бегало, хотя быт был не шибко какой обустроенный. Я помню годы, проведённые в корпусах, как самые счастливые. И папа молодой, и мама молодая, и всё в жизни понятно.

Римма:

Промежуток между корпусами (сейчас нелицеприятное скажу) назывался «*говёшка*», потому что это вот всё самотёком текло в бочку, которую потом вывозили. Зимой в туалетах, где замёрзли нечистоты, женщины откалывали лёд. Потом на розвальни складывали эти глыбы и увозили. Отходы пищевые собирались в *окорёнки* – деревянные чаны с крышкой. У фабрики было своё подсобное хозяйство, и эти отходы отправлялись туда, а нам за них какие-то деньги приплачивали. Эти деньги копили и покупали, например, патефон, общий на весь дом. Жили, можно сказать, коммуной.

Нина:

Я любила сидеть в кочегарке. Там работал такой дядечка. Мама приходила с работы поздно, часов в одиннадцать, и я её всегда ждала. И чтобы как-то коротать время – не было ведь телевизоров – я в кочегарке сидела. Помню печку, огонь, дядечка мне что-то всё рассказывал… Совсем маленькой я на колонку ходила с коромыслом. Два ведра стояли в коридоре. И вот я с этими вёдрами. Соседки говорили маме: «Зачем её посылаешь за водой, это тяжелое всё». А она: «Ничего страшного».

Светлана:

В корпусах жили и тюремщики, и пьяницы, всякий народ. Но хоть бы один как-то меня оскорбил, обозвал или ещё что. Никто никогда никакой подлянки не подставил. Все сочувствовали, говорили: «Если тебя кто будет обижать или приставать – ты просто пригрози: мол, расскажу Вовке такому-то! От тебя тут же отойдут!»

Надежда:

Если требовалось устроить большую постирушку – ходили в прачечную. Мама всегда говорила: «пойду пораньше, займу *окорёнок»*. Так назывались лохани для стирки, каждая со стиральной доской. Обычно эти постирушки занимали у женщин половину выходного дня. Забирать маму приходила я после школы. Помню: заходишь в полутёмное помещение, вокруг пар, жарко. Женщины стирали, раздевшись, в трусах и бюстгальтерах. В полумраке, в этом пару все они казались на одно лицо. И вот я вечно бегаю среди них, ищу маму. Потом корзину мокрого белья мы с ней тащили домой.

Альбина:

Подселили к нам через занавеску семейную пару. У них ребёнок и у нас ребёнок, и всегда чьё-то дитё орёт. И при этом никогда не ругались. Только у меня муж был ревнивый. И если мне надо кормить ребёнка, а там сосед пришёл с работы, то у него всё прям бурлило. Занавеской-то, считай, не особо прикроешься, марлевой.

Александр:

Были народные суды, если кто-то себя плохо вёл. Прямо в корпусе собирались. В коридоре ставили лавочки и обсуждали человека, который нахулиганил или пьянствовал. Все смотрели, осуждали, выносили приговор. Не доходило до тюрьмы, но было общественное порицание и трудовые наказания. Например, мыть полы в течение недели во всех коридорах, а коридоры длинные в корпусах. И если кто моет пол, то все знали, что это пьянь или дебошир.

**Пьянство, драки. Все качаются.**

Николай:

Корпусных все боялись, потому что отчаянный народ был. У нас в корпусе в основном жили грузчики. А они все – ух! Мужики! Крюком закинут кипу хлопка на спину и несут. Такие силачи были. Как только получка – так напивались. И все боялись. И не то что там до поножовщины, но помахаться кулаками могли, мало не покажется. Бабёнки тоже могли поскандалить, женщины натуры тонкие, могли и до драки дойти, накостылять за пустяк.

Альбина:

Работали у нас одни алкоголики. Иной раз даже на ногах не стоит. Тащили его в медпункт, фельдшер давала нашатырки и отправляла спать. Проспавшись, за оставшиеся полдня он вырабатывал норму полной смены. Была у меня в цехе работница – молодая, красивая. Но выпивала без конца. Прогуляет – выйдет сверхурочно и всё сделает. Мы её в перерыв вызовем и всем коллективом стыдим, обрабатываем. Она слово даст, поулыбается, но… Не смогли ничего. Предлагали ей лечиться – не захотела. В итоге всё-таки ушла с фабрики. Сама. Но мы её долго держали. И вообще старались никого не выгонять. И многих так спасли.

Александр:

Жизнь была довольно кропотливой, тяжёлой. Пьянствовали на работе. Прихожу в цех, а мне говорят: вчера мастера напились пьяные. Три женщины, хорошие такие, а вот ведь. Напились, а кто напоил – неизвестно. Я дождался, пока явились мужики – поммастера, таскальщики, подсобные рабочие. Согнал всех в кабинет. «Ну, кто зачинщик? Скажете, никому ничего не будет». Сидят, молчат. «Ладно, говорю, пора на работу. А ты, Станислав, иди забери свою трудовую. Ты с сегодняшнего дня не работаешь». А этот Станислав был здоровый такой мужичина. Он мне: «Сан Николаич...» Я говорю: «Всё, закончили. Ещё кто попадётся, судить будем». Дня через три я этого Станислава встречаю у Лабаза. Ну, думаю, поколотит меня. А он: «Сан Николаич, ты как же угадал? Ведь зачинщиком-то был я». Тогда, говорю, я позвоню в профсоюз, примут тебя обратно. Иди, работай. А пей дома. Всё, с тех пор тишина стала, дисциплина.

Альберт:

Всё делалось для рабочих, чтобы отвлечь их от пьянства. И пили гораздо меньше. В Рабочем саду торговали водкой и пивом. Но норму давали: стакан водки и кружка пива. И всё. Ходили не то что пьяные, но навеселе. А когда Горбачев сухой закон ввёл, у нас на улице каждый третий с ног валился. Особенно после получки идёшь — все качаются.

Нина:

Особенно непростыми были ночные смены. По ночам-то у них как раз самые пьянки. Один раз я пришла в полпервого на фабрику. Открываю дверь – у них стоят бутылки, и уже все во хмелю. Я говорю: «Добрый вечер!» Куда только девалось их веселье? «Михална… ты пришла?» Один на другого смотрят: «Как быть-то?»

Александр:

Праздник зимой, Масленица. Старший брат приходит – морда разбита, руки разбиты. «А! Сёдня подрались!» Это была традиция, с до революции ещё. С городскими-то мы автоматически, на танцах дрались. Ну, кто-то кого-то задел, и понеслось! Каждый корпус воевал с другими корпусами. Маленькие поспорят из-за какого-нибудь червячка, потом выбегают постарше братья. Потом уже взрослые выходят… Ногами не били никогда. Уронил, разбил ему что-нито, камнями покидали – и всё. Дружно жили.

**Танцы. Подмигнула и пошёл.**

Николай:

Танцы я очень любил, хотя вроде не очень такой по фигуре танцевальный, но любил. Зимой заливали стадион, в центре лёд, а при входе была вытоптана большая площадка, через громкоговорители играла музыка. И мы танцевали! В валенках, в шапках, в пальто. Сейчас вспоминаю, самому смешно.

Нина:

Многие умели играть на баянах. Выходили на площадку – и все танцевали. Пляски стояли! Веселье было! Танцевать нас никто не учил. Это всё с молоком матери в нас застряло.Редкий человек не мог сплясать «Цыганочку». Такого не было, как сейчас «тыр-дыр-дыр». Вальс, танго танцевали. С мужем познакомились на танцах. Шли обратно с подружкой. И к нам пристали парнишки – провожать. Я посмотрела на него – вроде, парень нормальный. Подмигнула ему, ну он с нами и пошёл. Так всю жизнь вместе и прожили.

Надежда:

Детей после 6 вечера в парк не пускали. Но мы хитрые были: спрячемся и смотрим, как танцуют пары. И все так одеты хорошо. Эти крепдешиновые платья, знаете, как в фильмах. Жили небогато, но всё равно у каждого находилось платье, которое надевали только на танцы. Живая музыка, духовой оркестр – это, конечно, всегда был праздник.

Альбина:

Ой, девочки, такие были танцы красивые! И с точечками, и с выходами. С точечками это так: три шага сделал – точечка, в эту сторону сделал – точечка. А ещё был танец: три или четыре шага вперёд, и назад – с партнёром очень трудно. А мы с подружкой… Я поменьше была и такая худенькая – она меня крутила только так! И когда нас разобьют, да ещё если парень не больно нравится, то мы с ней так жалеем, что не друг с дружкой танцуем – такой танец пропадает!

Антонина:

Какие танцы! Если вечером погуляем, нам хозяйка такой втык даст! Она нас так сторожила, никуда не пускала! Мы только задержимся, сходим с трамвая. Туфли в руки — и бегом до дома, чтобы от парней убежать. Потому что куда ни придём, везде парни к нам. От хозяйки за такое попадало! Она сразу приходит: «Всё! Подыскивайте другую квартиру!». Постоянно нас сторожила, такая была бабушка Яковлевна. Прям как мама, ругала за всё.

Людмила:

У одной девочки был проигрыватель и пластинки. И вот мы его принесли на мероприятие и оставили в школе. И на переменах танцевали. Да-да! Перемена минут 5. Но мы умудрялись танцевать. Закрывали дверь шваброй. Помню, танцую я с молодым человеком, и кто-то дверь пытается открыть. Отперли. Заглядывает учитель математики. Посмотрел, говорит: «Как вы хорошо танцуете. Ну ладно, ещё 5 минут потанцуйте!» Мы, довольные, дотанцевали.

**Детство. Ни игрушек, ничего**

Альбина:

Помню, мне купили пупсика на рынке, на Сенной. Ой, как я радовалась! Так-то мы кукол шили сами. Руки, ноги из тряпочек, волосы с фабрики. Ниток попрошу, папа с работы принесёт. Косы ей заплету. И этими куклами играли, платья им шили. Ничего не было: ни игрушек, ничего.

Римма:

Были такие смелые девчонки, не говорю уж про мальчишек, которые могли прыгать аж до 2-го этажа. Брали где-то пару-тройку кирпичей, потом находили хорошую доску, и с одного конца кто-то прыгает, а на другом конце человек подлетает. Но я боялась.

Николай:

«Расшибалка» весной начиналась. Когда снег стает, находили сухое место, где земля просохла, и это… На деньги играли, милиция запрещала. Бывало, нагрянет, разгонит. В «шары» зимой играли. В валенках. Специально точили шары, у меня был из берёзы карельской. Кто-то из текстолита точил, чтоб тяжёлый был. Первый запинывает шар, потом второй своим шаром бьёт по первому. Если попал, то берёшь деньги. Милиция тоже запрещала, шары отбирала.

Людмила:

Была одна девочка, постарше нас, она всегда что-то придумывала. И однажды она говорит: «Пойдёмте на рынок копать». Там же деревянный настил был, деньги у людей падали, мелочь-то. Сколько мы нагребли! У всех были карманы набиты этой мелочью, всякой: и советской, и старинной. А тогда все играли в расшибалку на деньги. А тут даже играть стало неинтересно, потому что у всех было полно этой мелочи.

Альберт:

С детства я увлекался техникой, придумывал, лазал по помойкам, находил моторчики, детальки. Сам сделал наждак, мне было, наверное, лет семь. В корпусе все ко мне: «Алька, поточи ножи». Я выходил с этим наждаком, на ларь ставил его и точил всем ножи. Когда мне было пятнадцать лет, мне купили велосипед, и я собрал газовый моторчик из запчастей. Моторчик на велосипед поставил, и мы всем корпусом на газовом велосипеде гоняли.

Надежда:

У нас был Кустаревский сад, мы туда лазали за ягодами. Мама знала и говорила: «Попадёшься – спасать не буду». Однажды я потеряла сандалию, убегая от сторожа. А в Рабочем саду, в конце, за забором выращивали кукурузу. У фабрики был свой скотный двор и конюшня, и кукуруза шла на корм. Мы и туда лазали, так хотелось попробовать, что это за кукуруза. Делали в заборе дырку, доску выламывали. Лезешь, трясёшься, всё внутри дрожит, там же дежурные ходили. Но так хотелось этот початок стащить. И если удавалось выскочить – ты был счастлив. Грыз эту кукурузу, не понимая, что вообще ешь.

Людмила:

Я могла без стеснения подойти и попросить: «Дяденька, тётенька, проведите, пожалуйста, в кино!» Билетёрши знали, что мы не их дети, мы дети общие. Но всё равно пропускали. Помню фильм «Ленин в Октябре». Там бегал крестьянин с чайником, искал Ленина. Это всё попадало прямо в сердце. Он искал, мы за него волновались: найдёт ли? А уж когда Чапаев переплывал! В него стреляли, пули летели… ой, успеет ли? Не погибнет? Утонет?

Римма:

На детской площадке стояли лавочки. Когда нам было лет 15, мы на этих лавочках читали «взрослые» произведения, прячась от всех. Рассказы Куприна или небольшие рассказики интимные, неизвестно чьего авторства – они все были от руки переписаны. Иногда до самой темноты читали, светили себе фонариком. В книжный обязательно заходили. Там продавались детские маленькие книжечки про Ленина, стоили 3-5 копеек. Я их собирала.

Надежда:

Я всегда читала много. С шести лет меня привели в библиотеку. Иду по дороге, читаю. Улица, она длинная мне тогда казалась. До самого корпуса иду, читаю. Вот отчего в очках хожу всю жизнь, потому что читаю. В туалет идёшь с книжкой, под одеяло ляжешь с книжкой. Ой, мама всё время ругалась: «Опять ты с книжкой? Ослепнешь!»

Светлана:

Я ходила в театральный кружок в Доме культуры. Помню, играла Зою Космодемьянскую. Мне нашли чьи-то ватные штаны, фуфайку, шапку. Я такая вся героическая, такие стихи… Выхожу – а в зале смех! Дети увидели, что я как чучело огородное одета. Расплакалась прямо на сцене!

Николай:

Мечтал я стать художником. Мать была против. Художники – бедный народ, не могут заработать на жизнь. В 10 лет я сам накопил целую кучу денег, чтобы поступить в художественную школу. Обучение стоило 15 рублей в месяц. У меня получилась эта сумма медяками. Приехал в школу, высыпал мелочь, учитель посмотрел на меня, засмеялся. А уж потом матери деваться некуда, стала платить. К восьми утра мы приходили зимой. Учитель нас сперва не пускал. И, знаете, почему? Он, когда включал свет, пол был серый. Это было море крыс! И этот шерстяной ковёр сметался, когда включали свет.

**Лабаз. Чем пахнет очередь.**

Людмила:

Я часто стояла в кондитерском отделе и смотрела на витрины. Денег не было, но так хотелось что-нибудь купить. Особенно морские камушки – изюм в глазури. Я стояла и думала: вырасту, пойду работать и буду покупать только эти камушки... Приходилось и в очередях стоять, и в Москву ездить. Но зато продукты были продуктами. Понюхаешь очередь – и понятно, что дают: котлеты, колбасу или окорок… Очереди стояли огромные. Если выкинули что-то, бежали все. Занимали сразу на весь корпус. А другие кричат: «Никого тут не стояло». Давали по полкило на человека, а это ведь мало. И люди брали из очереди чужого ребёнка и говорили: «На двоих». А потом и другие его брали, и третьи.

Римма:

В мясном отделе я любила смотреть на огромные туши, которые висели на стенах. Пока мама стояла в очереди, я уходила к прилавку, где находился большой пень, и рубщик разделывал туши. Женщины просили отрубить тот или иной кусок, и меня всегда удивляло, как он с одного маха рассекал тушу и отделял нужную часть. А на пирожные или что-то такое денег не было. Мама купит осьмушку чая, и до зарплаты его тянем.

Людмила:

Люди, которые работали в Лабазе, это была особая категория. Считалось за удачу, если среди них были знакомые или родственники. Были они грубоватые, пренебрежительные. Перед ними заискивали: «Нам бы...» А он бросит что-нибудь на прилавок. Не приходилось выбирать. Досталась пара сапог, нравится или нет, это уже счастье. Пиво не стояло на прилавке – «приходи и бери». Когда привозили, для мужчин был праздник.

Светлана:

После войны помню очереди за хлебом. Потом появился сахар – и за сахаром. Бывало, спишь – и вдруг закричат в коридоре. Привезли что-то. И мы все вскакиваем и ночью бежим в очередь. Время трудное было. Но, наверное, в России только такое и было всегда.

**Фабрика. Сейчас**

Надежда:

Сейчас мы ни к чему так не относимся. Фабрика для рядового рабочего была как для крестьянина корова. Фабрику называли кормилицей, слагали о ней песни, относились как к одушевлённой.

Людмила:

Сейчас иногда прихожу на фабрику – и прямо сердце жмёт. Знаешь тут каждый уголок, каждый подвал, каждый чердак, каждый кирпич. Конечно, не хочется, чтобы предприятие затухало. Хоть бы один цех работал. Чтобы мы чувствовали, что фабрика ещё дышит.

Альбина:

Сейчас идёшь – тишина, ни души народу. А ведь раньше толпами тут ходили, шли на фабрику прямо целым потоком. И новости были, помню: такой-то завод пустили, столько-то рабочих мест... И мы чувствовали, что мы нужны. А теперь о рабочих вообще не говорят, как будто их и нет!

Антонина:

Сейчас рабочий - насмешка просто. Часто приходится слышать: что вот не учится ребёнок – пойдёт на фабрику. Как наказание! А ведь фабрика столько воспитала людей хороших! Фабричные... Они все были дерзкие, с железным характером и очень живучие, да.

Нина:

Сейчас каждый живёт по-своему. А тогда жили одной семьёй. И не было зависти, ничего такого. Была чистая любовь ко всем. Мне 96 лет, идёт 97-й. Секрет долголетия? Не знаю в чём. Мне кажется, я просто любила жизнь и все трудности воспринимала с любовью что ли. А теперь, может, уже и хватит жить-то? А?

1. Пьеса основана на воспоминаниях рабочих фабрики «Красный Перекоп» (Ярославль) [↑](#footnote-ref-1)